

Памяти русского поэта

1

Здесь дали земные другие, иные.
Здесь вьюги вам хлещут в лицо ледяные.
Снега слюдяные и говор иной –
Сибирский, мятущийся, некоренной.
Транзит пролегает с окраин Востока,
Где очень жестокое око за око,
Пока же поили мы их и кормили,
Они нам родили второго Шамиля.
Чалму нахлобучив на башню Кремля,
Смеются жестокие псы Шамиля.
Да мне-то, транзитному, что за морока –
Жестокость Востока и око за око!
Я ем под ногами усталыми снег.
Доволен снегами, пока человек.

...Я был, словно древич, с корнями литыми,
Был словно царевич с кудрями витыми.
Но корни иссохли. Чужая земля
Смеялась над преданным сыном Кремля.
И горное эхо с акцентом кавказским
Чужие мне стало рассказывать сказки.
Мне слов не понять и смыслов не прочесть,
Друзей не обнять и врагов не извести.
Я изгнан Отчизной. Я чёрным абреком
Ночами прощаюсь с роднёй и с веком.
Вы спросите: кто я? Не ведаю, кто я:
Я жалкое эхо земного героя...
Себя за бессилье не в силах простить:
Мне некому верить. Мне некому мстить.

2

Казах обольстился сухим Казахстаном.
Ест сало хохол под весенним каштаном.
Узбек и кореец пьют чай в чайхане.
Кацап захлебнулся в палёном вине.
Звучат в Кишинёве молдавские доины.
А русские песни – про русские войны,
Про то, что окопы пропитаны кровью
В горах Кандагара, в степях Приднестровья,

на кавказских горах, на картонных завалах,
На смертных пирах ветеранов бывалых.
Глухие, слепые, как тени, плетутся
К гаранту российских ура-Конституций.
И гладит на брюках полковничий рант
Малютка-законник, усталый гарант.
А где-то в кибитке степного аула
Рождается песня иного Джамбула:
«...Послушай, Каскен, Каскелен, Каракон:
Будь проклят в веках кровожадный закон!»

...Мне волчья опричина снится и мнится.
Минуя таможни, посты и границы,
Бегут самозванцы, сидельцы Кремля,
Горит под ногами чужая земля.
Да где уж!.. На быдло намажут повидло,
А быдло заное: «Повидло обрыдло...»
Почешет в затылке, пороеет в носу:
«Даёшь колбасу по четырнадцать су!»
Тифозную вошью закусит горилку,
Затынет родную Маняшку в парилку,
И – ну! – горемычную – ну! – прессовать!
А после под ручку и – голосовать.
«Ты, Маня, не „против“?» –
«Нет, Ваня: я – „за“!»
Печально, солдат.. Не смотрели б глаза...

3

Ежи заграждений – печальные даты.
Зарыты в них намертво наши солдаты.
И тощий поэт среди многих поэтов
Один не забыл и напомнил про это.
На что ему звёзды и птиц перелёты,
И тесные книжных томов переплёты?
Любимая спросит: «Куда ты до света?»
«В солдаты, в солдаты на многие лета...»
Ему на прощанье отцовский кисет
Протянет с вещами старинный сосед.
Она позвонит. И приедет карета.
В психушку отправят с кисетом поэта
Лечить от любви, от печали с тревогой
За то, что случилось с Отчизной убогой,

За то, что повержена гордая стать.

Поэту не выжить.

Поэту не встать.

...Лечите поэтов. Учите поэтов
Шпипцами, шприцами полезных советов.
Учите деньгами, богами, врагами,
Топчите жандармскими их сапогами.
Топчите, оставьте учёные споры:
Вот критик-наездник вонзил в него шпоры,
Звенит трензелями, трясёт бородой,
Солдатский кулеш не считает едой.
И как в ожидании тайного знака,
Слегка намекает на талант Пастернака,
О Бродском помянет, предчувствуя грант:
«Какой же ты русский, коль не эмигрант!»
Какой же ты русский, коль не одинок!
И круто уходит земля из-под ног.

4

...И говор дороги, её диалекты
Сменил я на парки, аркады, проспекты.
И тут моё певчее сердце узнало
Всю тяжесть блокады «интернационала».

Менты и чиновники, чурки и урки,
Мой давний знакомый, курящий окурки,
Стоявший под сводами этих аркад,
Когда мы сгорали в аду баррикад...
Ни зуб золотой, и ни нож-выкидуха
Ему не заменят присутствия духа...
Отставить, отставить Россию и – дёру,
Оставить её комсюку – мародёру!
Оставить Герою, которого путь
Её, как коня, на скаку развернуть.
Да что я: Россия, Отечество, мать?..
Умри. Замолчи. Перестань понимать.
Средь черни исконно послушной кнуту
И чурке, и урке, узде и менту
Я пожил своё и своё одолел.
Революционностью переболел.

Оставьте далёкие горы Кавказу
А вместе с горами чуму и проказу,
Баранов, лаваш, помидоры с хурмой –
Вернитесь живыми. Вернитесь домой.
Оставьте туземцам кошары, аулы.
Поставьте по всем рубежам караулы.
Возьмите в осаду кремлевскую рать –
Пора понимать и пора выбирать...
Нас предали жирные старцы – и что же?
Нехитрое дело детей изничтожить.
Нас предали все, получая чины,
Но только предатели – обречены.
В костры Инквизиции – вот их дорога.
Им слыть обезьянами Господа Бога.

5

Мы стали страной книжочеев, но книги
Нам пишут мошенники или ханыги.
Мы старцев – забыли, истоки – пропили,
Себя разлюбили в жестоком эндишпэле.
Да сами-то что! Наши русские дети
Остались одни на жестокой планете.
Лишь в небе – Отец, а земные, иные
Как будто забыли свои позывные.
Я робко крещусь одряхлевшей рукою,
Я робкой молитвой Его беспокою:
«...Спаси наши души...» – а слышится:

туши...

И мы погибаем в морях и на суше,
В домах и хатёнках, в горах и долинах.
Но наше грядущее – в наших былинах.
...А как же усталость? А как одиночество?
Не лучше ли броситься в тёмную пропасть?
Не лучше ли в бездну запоя свалиться,
Чем бывшей Империей русской хвалиться?
...Я к вере пришёл под прицелом вайнаха.
Я шёл к ней с высокой душою монаха,
Не зная молитвы – молитву творил,
И голодом зим своё тело морил.
Черняшку с водою считал я едою,
Народное горе – своею бедою.
Дай силы, Господь, недостойному мне!
Дай силы помочь покорённой стране.
Её, подконвойную, гонят на копи,
А я иссыхаю в последнем окопе...
Солдаты России и голы, и сиры.
– Где братья мои? Где мои командиры?
– Они по штабам протирают штаны...
Над ними штандарт самого Сатаны...

4. 12. 2003

**Письма о любви
в редакцию журнала «Сельская новь»**

МУЗЫКАНТ-СЛУХАЧ

Здравствуй, дорогая редакция журнала «Сельская Новь»! Номер вашего журнала случайно попал ко мне в пассажирском поезде между Тюменью и Свердловском. К слову сказать, поезда сейчас ходят полупустые – у людей нету денег на билеты. Дорогие они стали, дороже людей-то самих. И вот почти весь перегон я ехал один, как пан Зюзя. Обычно я людей стесняюсь: то, думаешь, дырка в носке, то – храплю, то – мало ли что, а люди подумают, вот, мол, деревня. На столике куча газет, журналы с девками. И он лежит, этот ваш красивый журнал в этой обшчей свалке. Я ведь на старости лет стал ходить в церкву и потому тех девок осматривать ну не стал и всё тут. Не гинеколог, чай. Как, думаю, батюшке на исповеди скажу? А ваш журнал взял и посмотрел. Ну, и втянулся. Сроду-то писем не писал, а тут дорога ли освежила или что, но я адрес ваш переписал. И вот почему-то не думал, что напишу. Что вам мало писем приходит? Да ещё и ошибок, думаю, наделаю. А потом, думаю: какие такие мои ошибки? Мои ошибки все позади, а письмо в редакции подправят грамотные люди. Человек-то я был необычный – первый парень на деревне, Божьей милостью музыкант-слухач. Я из клуба бы и не вылазил, когда бы не сельскохозяйственные работы да не лень-матушка. Дай мне люблю дуду – сыграю на спор. Жалко Гены

Заволокина на меня не нашлось, а теперь – нету Гены, Царствие ему Небесное! И девки-то наши, бывшие певуны-то наши, вокруг меня вились, как мальки у пролубли. Выбирай любую. Да вот, когда их много-то, тут тебе и незадача. Нравится Люба, а целуешь Галю. На всякий случай, от избылиция молодой жадности и ненасытности. А нравилась мне Нина М. Так меня любила, ждала, а я не спешу: куда, мол, Нинка денется. Сам всё не женюсь – рано, думаю. В армию сходил, специальность приобрёл, а ума не нашёл. На работу – в клуб – на танцы – в кусты – на работу. Такая цепочка жизни. А тут главный механик совхоза нашего надумал строить зерносушилку. Тогда они в моде были, эти зерносушилки. Стоит она на деревне вместо церкви, и деревня уже не деревня – село. И что дальше? А дальше приезжают к нам в деревню «шабашники» с явной целью возвести этот объект. Это был ещё март месяц, распутица, Урал. Все ребята молодые да звонкие, денег не жалеют, работают от зари до зари, ещё и в клуб навадились ходить. А один, кучерявый – его Олегом звали – он не ходит, а играет коло дома на трубе. Труба у него золотистая, помповая, венгерская и «лунный камень» в помпочки вставленный. Красивый он был парень, молчаливый, с ленцой, с потягом. Глаза голубые, кожа под загар и чёрный с синью чуб – вороново крыло. Капля мой баян против его трубы, скажите, люди, а? Куда моя банная белизна против его камуфляжа? И трубит он по вечерам, как сильный лось, а танцы, как подсохло, во двор к «шабашникам» перемещаются. Все – девки, парни, вдовы, деды старые – воссядут на завалинки и руками эдак-то плещут, как в цирке. А он нажваривает сподряд: то «Караван», то «Маленький цветок», то «Сан-Луи блюз» – и всё молча, нехотя, с ленцой. Поиграл – поплевал губами – начинай сначала культурную программу. Вот Нина от него и родила тройню – понимаете? Тройню! Двое – мальчонки и девочка. Как положено, со всеми данными. А деревня про ихние с Олегом шашни – ни сном ни духом. Это как? Никто из наших пограничников ничего не заметил! Что уж он этот Олег ей такое нашептал через свои трубные гласы, как уж она ему открылась, чтобы тройня-то – так за всю жизнь она мне и не сказала. И ни отцу, ни матери своим. Те на деревню глаз не кажут, только телевизор глядят. А они, шабашники, сушилку только к Новому году сдали. Олег этот на учёбу раньше уехал, в конце августа, а она и родит. Отсчитал я девять месяцев к нулю – получается июнь. У нас июнь – пора сенокосов, свистать всех наверх. Вот пока мы свистали, он её и улестил. Ладно. Тут я без обид, дело житей-

ское. Обида моя в другом! Газеты кричат: тройня! Сельсовет ей импортну немецку коляску через райпотребсоюз – на, Нина! Радуйся, мать! А она – сохнуть. Ни вздохнуть, как говорится, ни охнуть. Аж молока у ней не стаёт. Молока не стаёт, когда грудь-то – мне ли не знать? Знал. А у ней молока в этой системе не стаёт – психика, стало быть, нарушилась. Погрузит деток в импортну коляску и коло почты их катает, пылью-то дышит. И что же я? Жалко мне её. Хожу мимо, не здоровкаюсь. А она улыбнётся с пониманием, с прощением, как ножом по живому шаркнет. Взял бы, увёз бы куда подальше вместе с приплюдом. Сердцем-то жалко её, да ведь не зря же люди говорят, что дурень думкой богатеет. У нас был ставок внизу огорода. Там жила дикая утка с пятью утятами. Вывела их, растит, учит дорогу переходить. Смотрю на утку с выводком и думаю: а Нина как же? «Мам, – говорю, – так, мол, и так: увезу я Нинку с детками!..» Мать моя, Домна Ильинична – руками-ногами против голосует. Отцу, Григорию Ивановичу, тому всё равно, была бы четверть самогонки и капуста с хрустом. Ах, так? Беру Кольку Стырова, беру мотоцикл – и в райцентр! Потом беру в райцентре вина бутылку, водку, шампанского – едем свататься. Я ей, Нине: скажем, мол, что детки от меня – и всё покроем! Ну и что? Да ничего. «Люблю Олега, – говорит. – Он за нами всемя приедет и нас отсюда увезет...» Ах, так! Алые паруса ты мне будешь читать? Не стерпел я такой обиды для самолюбия. И уехал в Среднюю Азию совсем. Тубейку там надел, греюсь под арчей. Раз женился, два женился, грешным делом. Одному жить-то странно, и квартиры не дождёшься. Неудачно, скажу вам, сочтался. Работаю на стройке крановым. Сверху смотришь – все они, девки, хороши, так бы с башни и сиганул. А спустись да женись – всё, вилы. Строил, строил им эту ихну Среднюю Азию – шабаш: перестройка. Давай Бог ноги от ихного аллаха! А уж и мать похоронил в 1987. Отца закопал ещё раньше: не то в 75-м, не то в 77-м. Приезжал я, хоронил. Видел Нину – состарела. Оба мальчонка, говорят, погибли в десанте на Кавказе. Девочка с ней. Мои одногодки всем классом на Чербуза скочевали, это так наше кладбище называется – Чербуза. Молодёжи нет. Ни баяна вам, ни трубы. А я помотался, помотался лет уж шесть как по России со своим статусом беженца и думаю: а чего я мотаюсь? Баян есть. Руки-ноги на месте. Вот, едуци домой в родительский пустой дом, и встретил я ваш журнал по дороге. И пишу вам обещающе, что женюсь всё-таки на Нине. Давай, скажу, обвенчаемся, Нина. Это же не в загс завернуть – тут перед Богом встать

надо. Не откажет ведь она, Нина моя, старушка. Какое уж нам теперь дело? Дело наше стариковское. Замиренное. Не жили вместе, так помрём сообща. И пишу я вам из привычного с детства дома. Вот провёл сегодня, 12. 5. 2003 г., свет в избу, а то провода какой-то нехристи обкарнал по саму репицу. Написал бы ещё, да бумаги, товарищи, нет. Да и хватит, однако. Чего людям, вам, досаждают. Посоветоваться хотел: зачем жил и как жить дальше? А потом раздумал. Церковь вот учили с батюшкой Андреем чинить, латать. Я ж музыкант – на крылостех теперь пою. С батюшкой мне спокойно. Он моложе меня вдвое, а по разумению – отец. Думаю, он мне всё и обскажет. А вам – так:

Желаю всем вашим сотрудникам успехов и здоровья. С наступающим международным днём защиты детей.

*Бывший первый парень на деревне
С. Г. Шамраев. 2003, Валерьяново*

ПОТОМСТВЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ

Здравствуйте, многоуважаемые члены редакционного коллектива! Мне тридцать четыре года. Я, сельский учитель естествознания, пишу вам холодной октябрьской ночью. За неделю направление ветра сменилось трижды. Если ещё раз сменится – я взвою, как собака в соседнем доме, где все живые старики вымерли. А дети стариков и хотели бы продать домишко, да кто его купит в нашей глухотляби. Мне-то лично не холодно, на коленях моих старый сибирский кот Тимофей Титыч. Мы выйдем с ним на крыльцо и увидим поленицу берёзовых дров справа от крыльца под навесом, небо в звёздных блёстках, увидим хмурые змейки позёмки по двору и мне не поверится, что где-то есть красивые станции даже захудалого метрополитенки самой зачумлённой метрополии. Когда подумаю об этом, то чувствую себя в лучшем случае шахтёром, заваленным в шахте, навсегда отрезанным от поднебесного мира. Смешно и нелепо складывалась моя жизнь. Я – бывший москвич из Фрязево, потомственный учитель, любил природу с пчёлками на клеверах, писал стихи: «...В такую пору дорог мне в печи огонь... Поленьев жар, и сам я – в лихорадке. И дни свои, как школьные тетрадки, листаю я, уставший от погонь...» Накаркал. Романтика народного просветительства прогорела – остался угарный газ. Человек умирает, вдыхая его, но умирает румяным и практически здоровым. Не буду вдаваться в детализацию быта нынешней сельской интеллигенции. Скажу лишь, что был у меня шанс после распределения в 1991 году остаться в Мо-

скове, но домашнее воспитание моё было таково, что не позволяло поступить таким образом и жить «на воле с чистой совестью». Человек, манкирующий своими обязанностями и долгом, считал я тогда – преступник. По меньшей мере – нравственный урод. Распределился за Урал, в Сибирь, в глубинку. В итоге, родители умерли, небольшая квартира из рук ушла. Но и тут был шанс выгрести наверх, в рай, в обл. ОНО, имеется, ввиду, где мужчины идут на тот самый вес, который тянет не вниз, а вверх. Но ОНО не случилось, во-первых, оттого, что я, повторяю, не карьерист, а во-вторых, случился у меня роман с одной из моих тогда ещё учениц одиннадцатого класса. Её звали Анной. И ничего в ней от набоковской Лолиты, а во мне от доктора Гумберта в этом романе не было. По сути не было и самого романа как такового, а были чудные небесные предощущения его в недалеком будущем. Но в деревне всё это небесно-возвышенное быстро извалялось в кустах, в навозе и дёгте. Вот ситуация.

Она хорошо рисовала и пробовала писать стихи. Стихи эти были бездарны. Кроме полудетской игры во взрослые страсти и пары-тройки повторяющихся банальных рифм ничего в них и не было. Я видел и понимал, что эта обещающая стать красавицей девчушка влюблена в меня, учителя из волшебной Москвы. Она по-детски ли, по-матерински предчувствовала моё и мною же самим созданное грядущее одиночество. Ей было непонятна та скрытая враждебность, с которой к приезжим, а к москвичам – в особенности, относятся в российской деревне. И она жалела «одинокого» меня. И любила, как я, может быть, в своё время, любя, боготворил свою учительницу немецкого языка Галину Ивановну Майер. А однажды, когда к Новому году я рисовал стенгазету, клеил, строил, красил, напросилась Анна ко мне в помощь, кричит и мы «играем в четыре руки». Я ей: « – Подай... принеси... » А она мне: « – Станислав Юрьевич, поцелуйте меня! » Да Боже ты мой! Сколько же она готовилась к этой акции мнимого самосожжения! Сколько слёз пролила, оплакивая свой мнимый позор! Сколько? Вспомнил я и Макаренко, и Песталоцци, и Корчака и иже с ними. И говорю ей единственно верные, как мне казалось, в этих обстоятельствах слова: « – Анна! Ты мне очень нравишься. Но сначала кончи школу. Тогда мы поженимся и будем целоваться сколько ты захочешь! ». Разумеется, я тут же понял, что сказал благоглупость. Она была уже взрослой и умной девушкой. Она прекрасно сознавала мою «взрослую» ложь, и я испугался, что выгляжу в её глазах преподом-трусом. Я переборщил в сво-

ём педагогическом рвении. «— Ты ещё ребёнок...» — сказал я. Нет ничего обидней слов, подобных сказанных мною, для девушки, которая пошла по пути Татьяны Лариной. Пушкин был гений, и он был, как всегда, прав. Анна моя Липатова, всегда румяная крестьянская дочь, побледнела, свела светлые брови к переносице, однако синих глаз не отвела. Смотрит на меня бывшими синими, но почерневшими вдруг глазами и говорит: «— Мы оба будем сожалеть о том, чего не случилось...» Мы сидели в химическом классе. Анна вымыла лицо и руки над раковиной, утёрлась вафельным полотенцем и ушла. А весной уже вышла замуж за дембеля из соседней деревни Граково. Я, честно говоря, обмер. Замотаюсь ночью в холостяцкое одеяло, как в кокон, а уснуть не могу. Скажу ещё, что ездил я на выходные на мотоцикле в одну из деревень, к своей коллеге, с которой познакомились и пали на одном из областных семинаров. Но любви во мне не было. И тут я стал понимать, что же это такое — жизнь любящей души, загнанной в кокон предрассудков. Мне стало не важно: прав я, двадцатичетырёхлетний учитель, или не прав был тогда, в химклассе. Пока я сердечно и умственно маялся, жизнь Анны набирала драматический колорит. Однажды в июне часа в два ночи — стук в дверь. Открываю. Стоит на крыльце её дембель: «Ты учитель?». Я говорю: «А где ваше здравствуйте?» — «Меня учить не надо!» Я закрываю дверь — он не даёт. Подрались мы. Деревня рукоплескала. Потом сели за стол переговоров. Деревня обмерла. «Забирай её...» — говорит, — «...толку с неё никакого. Не жена она мне — понимаешь, Стас?» — «Понимаю, Боря...» — говорю. И так почти десять уже лет, господи. Я бы уехал — не на что. Я бы женился — не на ком. Пить я так и не научился. Да, Тимофей Титыч? С Борей, правда, иногда невпопад напиваемся да песни поём. Ни он, ни я до конца слов не знаем. А к чему слова? Тешим деревню. Бывает, придёт Анна, заберёт его в стельку. «Друзья из табора...» — скажет. На меня не смотрит. Ещё отец Анны, ветеринар, иногда заходит, советуется: «Что с внуком делать — способный парнишка в шахматы, а тренера нет». — «У меня — первый разряд, — говорю, — пусть приходит». — «Это к тебе-то, греховоднику?» — пучит он глаза. И — бутылочку из кармана — цоп! — на стол. Абсурд! Вот так и живём. Не ждём тишины. Её нам хватает на сто лет вперёд. В отпуск бы убежать, в отрыв — на какие же шиши! А зачем я всё написал в сумятице чувств — не знаю. Может мне написать душеспасительную книгу, пока не деградировал окончательно и бесповоротно? Что посоветуете, дорогие мои земляки-москвичи?

Станислав Юрьевич Решетов, сельский учитель из погорелой, как и всё народное образование, школы. Кемеровская обл.

РАЗДОЛБАЙ КУБАНСКИЙ

Здравствуйте, редакция «Сельская Новь»!

Мне кажется, что вы читаете письма читателей. Это видно потому, что вы их печатаете на своих страницах. Может быть, мои сомнения и жизненные выводы кого-то заинтересуют. Зовут меня просто — Саша и Саша. А фамилия откуда-то — Кубанский. Родителей уже отвёз до ямок, закопал. Теперь и спросить некого — откуда такой род пошёл и идёт дальше к тем же ямкам. Да, поясняя, что ямками у нас кладбища называли. Вот такая фамилия непонятная. С такой родовой в кинокартинах сниматься или банком управлять. А какие наши банки? Огурцы солить разве. Вот чуть что — сразу: эй, ты, кубанский-шампанский. Чуть что: вам, кубанским всё равно — ходи дверь, ходи окно. Привычно и не обидно. Обидно другое: всё хочу увидеть Кубань. Сильки той Кубани? Хоть бы какая казачка бы позвала. Да так и не видел я её, Кубань, потому, что живу на другом конце демократии (демократии — зачёркнуто. Ред.) глобуса России, в степном и безводном барабинском селе. Бараба наша — это большая, как солёное море, степь в Сибири. Может, здесь когда море-то и было, а сейчас — дно истории. Местами желтая от ковылей да пшеницы, местами красная от «гусиной лапки». Зелени почти не бывает. Из мужиков кто остался тут жить, тот никому нигде на этом глобусе не содился. Взять меня: на кой мне эти одиннадцать классов сельской школы? Как был я класс рабочих и крестьян — так им и остался. Да теперь и класса такого не стало. А я остался. Работы нет никакой. Чин чином. Как у всех. Семейная жизнь, скотина да кролики — вся работа. Женились мы тут на своих красавицах. И я на Светке после армии женился. Все по-людски, свадьба, доска Почета. Мне сейчас сорок два, ей — не скажу. И всё было ничего, если бы не это ваше телевидение. Жили мы тихо, знатьём не знали, что краше наших девчонок есть. Детей плодили радостно. Ну, кино, бывает, посмотрим — все в пиджаках, все в шляпах. Гольх жок. А уж, чтобы: фак ю, Мэри, мач вэри, не как в сэсээре — да упаси Бог! А как теперь жить? Ну, посмотри ты, Саша, в экран, а потом ты на свою таракашку запечную глянь. Что ты, Саша, видишь? А глаза бы не смотрели — вот что я вижу! Это же что мы наблюдаем со своих продавленных диванов? Как нам после этого в баню со Светкой идти? Что там делать:

мыться? И как-то я это производство देखишь совсем запустил. Двоих хватает. А ведь я Светку-тихонюшку свою любил.

Может, и сейчас люблю да что об этом думать-то лысеть? Если она и любовь, то какая-то другая любовь. По приговору судьбы, что ли. А ведь я не пил, не курил, на Доске у сельсовета висел, как передовой партизан. Конечно, дрался по молодости, огонь в крови тушил, но украсть чего, кроме раннего огурца в соседском огороде – ни-ни! А приходит один наш деревенский раздолбай из мест заключения. Ну, здорово – здорово. Освободился, мол, спрашиваю, раздолбай покровский? Просто так, безо всякого Якова. А он мне: я-то, мол, освободился, а вот ты-то, раздолбай кубанский, пожизненную получил! А? Получается, что он прав. Он сел – вышел – пришёл – уехал – сел – вышел. И всё на казённом харче и на государственном транспорте. На моём, значит, крестьянском горбу! А моя Светка-то на него смотрит, как на Осипа Кобздона. Скоро сорок лет, а вся аж, как помидор стала суть томатным соком пошла наливать. Пряма аж в лице изменилась, губёнки свои поджала. Я сам служил в отдалённом гарнизоне. Грамотные мы. Там жёны наших офицеров так смотрели на московских проверяющих – словами не передашь. И вот погулевали этот раздолбай-то покровский по деревне, двух собак без суда и следствия из детского поджига застрелил. Тут приехали к нему его корефаны. Палатку в степи за деревней поставили и ну веселиться. Да ещё полдеревни девок да баб замужних да вдовых с ними, да у кого муж без вести – все с ними. Деньги у них, у бесконвойных. А девки, ясный пень, как в песне «Коробочка»: расступись, ты рожь высокая и прочее тому подобное. Знаем мы эту рожь, которую не сеют да не жнут. Насмотрелись по телеку этого обмолота зерновых колосовых и зернобобовых. Погуляли так эти отечественные эки, нашего раздолбая в инмарку загрузили и – Москва – Чита – Челябинск.

А мне в голову стуки:

– Светка-то, мол, завидует тем девкам с бабами... Погуляли, – думаю.

Я ей и давай впаривать: – Завидуешь этим шалашовкам, да? – Она типа: – Отвяжись, Санёк! когда завидовать? Мне сыну в армию посылку собирать! и всякое такое.

Я говорю: – Да кому, мол, ты нужна? – Она – хоп! – и говорит тогда: – Я-то, может, и не нужна... Да мне-то... – и замолчала. Помолчала минут пять-семь. Ну, час. От силы – два. Потом: маленького, говорит, хочу. Понятно? А я сразу и не понял какого такого маленького и где взять. Когда

понял – разгорячился, что чуть ей не наподавал.

– У нас скоро Анька родит, – говорю, – и ты туда же, мол, старая.

Да что с ней сделаешь? Дура кубанская. Вот и давай ко мне приставать: да Саша, да милый. Я и расстарался, как допризывник, а нынче Светка моя на пятом месяце. Вот и пойми: где любовь, а где что другое — помолодела Светка. Смысл какой-то появился. Правда, думаю, пошло оно всё катом-колобом! Мы уж как ни жили, а живём – пусть и дети наши живут. Напечатайте письмо, если можно: хочу Светку поддержать. Я куплю два журнала, из одного письмо вырежу да сыну в армию отошлю. А второй журнал сохраню до бракосочетания будущего младенца. Пусть почитает и узнает, что в родительской любви на свет родился, а не по банному призыву. Такой вот я дурак, Кубанский. Зря мне люди говорят, что она, Светка, от раздолбая беременная, как остальные пол-деревни. Считать не умеют: раздолбай-то был в июле. А сейчас март. Вот и считайте. Двоим я уже зубы пересчитал и очень грамотно

Это у меня получилось. И другим посчитаю. Пусть это нецивилизованный путь борьбы. Нам что? Мы дикие степняки с нежными сердцами. Прощайте, товарищи.

А. М. КУБАНСКИЙ, Барабинский р-он, Новосибирской области

НИНЕЛЬ

Здравствуйте! Мне тридцать пять лет. Меня зовут Нинель. Если прочесть это имя наоборот без мягкого знака, то получится Ленин. Честно говоря, я об этом узнала недавно, когда лишилась работы и от нечего делать стала много читать. Библиотека в нашем селе сгорела вместе с клубом, и моя подруга Галя Корепанова списала мне по инвентаризации тонны полторы старых журналов. Я ими печку топила с февраля по середину мая, и всё равно ещё с полтонны осталось. Тут и ваши прошлогодние журналы совсем новенькие, и я их жечь не стала – жалко. Один полистала, второй и как-то втянулась, успокоилась. А успокоиться мне было трудно. Подумайте: мужа нет, поздний ребенок на руках, работы – жок, как говорят местные казахи, и село – кладбищем прирастает. Что впереди? Кто из баб запоем пьёт, а я читаю запоем. Научилась и по церковно-славянски читать. И чувствую: какая же я дура была, что не пошла учиться! Жила бы сейчас в городе, да любовь меня сгубила. И что же со мной

будет, думаю? Что переди? Куда пойдёт мой сын Толя, когда вырастет? Одно, думаю, хорошо: сын у меня от любимого человека. Вот о нем я и хочу рассказать, о своём горьком любимом.

Он был братом моей одноклассницы Люды и на десять лет старше нас. Он казался мне похожим на артиста Игоря Костолевского. Только мне – и никому больше, как оказалось. Кого ни спрошу на кого, мол, похож Серёжа – все отвечали по-разному. Кто говорил, что на мать, кто – на отца. Сестра Люда говорила, что на жеребца Мерседеса, на котором нам в школьный буфет обеды привозили. Серёжа был уже женат, когда я в него влюбилась. Женился сразу после армии на заведующей клубом, да через пять лет записал: она ему изменяла. А мне как раз восемнадцатый год пошёл. Он уже два раза лечился от запоев. Как-то встретил меня случайно на автобусной остановке, смотрит с ненавистью и говорит:

- Ты ведь мне на бутылку не дашь?
- Нет, – говорю, – Серёжа, не дам...
- А если, – говорит, – я сейчас подожду?

Я дала.

– В первый и последний раз, – говорю, – Серёжа. Уезжаю я сдавать экзамены в институт:

Он вдруг протрезвел и говорит:

– Не надо... Не уезжай... Давай пожевимся – я пить брошу, работать начну... Не уезжай! Ты ведь меня любишь! На, бери свои деньги, а я бегу бриться – и в сельсовет, распишемся!

Смотрю на него – Костолевский. Тот же неотразимый взгляд со смешинкой, голос – тот же. У меня сердце едва не выскочило, голос охрип. Я говорю:

– Беги, Серёжа, брейся...

Что дома было! Мама плачет, отец всех кроликов зачем-то перебил и взялся ошкуривать.

– На порог не пущу! Убью, как крола блудливого!

И не пустил. Тогда мы с Серёжей уехали в другую деревню за сто тридцать километров. Там нас никто не знал. Расписались там же в сельсовете. И не рассказать, как же нам хорошо было целых четыре года! Квартира в каменном доме на два входа. Сам не пьёт, шутит, шофером работает, я – осеменатором. А потом – на тебе! Разве такой мужик без догляда останется: ушёл он от меня к одной прак-

тикантке из сельхозакадемии. Где-то на уборочной с ней познакомился. А мне что теперь? Двадцать два года – ни вдова, ни жена. Он года три – то к ней, то ко мне. Там у него, слышать, ребёнок, и я на двадцать седьмом году родила Толю. Терплю. Он, слышу, снова записал. Я красивая, ко мне тоже подбিরались мужики. Но кому, я думаю, из них мой Толя-то нужен? И цену словам я уже знаю. А так под одеялом с чужими валяться мне стыдно. Как жить? Живу. Совхоз развалился. И надоумил меня Господь: стала я на похоронах псалмы читать. Тут уж с голоду не умрешь: кто побогаче – денег даст, кто победнее – мяса, яиц, сметаны. Стали мы с Толей жить посытней с таким моим бизнесом. По соседним деревням уже меня зовут, машину присылают – туда и обратно. Народ-то мрёт неистребимо. Я оставляю Толика с безработной Галей и еду. Страшно, а еду. И привезли меня в конце этого лета в деревню Поваренку, захожу я в захудалый домик, а в гробу лежит он – Серёжа, Царствие ему Небесное. И что странно: поверьте, ничего во мне не шелохнулось, как тогда, на автобусной остановке. Отчитала я псалмы – уже утро. Не удивило меня ни мое спокойствие, ни то, что жены его и сына рядом нет. Я никого ни о чём не спросила. Не дождалась похорон, не бросила горсточку земли на могилку, а домой пошла пешком двадцать километров, потому что все уже перепились и везти меня некому, да потому что дома меня ждал мой Толя. Дождь пошёл, гром гремит, омыло меня всю. Простудилась, переболела. Сын с Галей за мной ухаживали неделю, пособоровали. Проснулась я – как проснулась... Солнце, красота ясная такая на улице. И всё ведь Господь для нас, грешников, создал: любуйтесь, пользуйтесь... невзирая, так сказать, на лица: пьешь ты, болезный, материсья или другое что... Вот это любовь настоящая! А наша – какая? Правильная ли она?

Так и прошла моя любовь, а сына я выращу. Самое лучшее, что было в Серёже, в сынке есть. Никто, кроме меня его, этого хорошего, не замечал, как и сам Сережа. Вот так всё и ушло. Всё прошло, только иногда кажется, что умер Игорь Костолевский. Значит, долго жить будет, если верить приметам, православные. Простите, ради Христа, если что не так. Нинель Колмогорова, псаломщица, Омская область.

04.07.2003, Валерьяново